

О всемирной любви

I

Не пора ли уж перестать писать о Пушкине и о всех тех, кто блистал и действовал на его московской тризне? Довольно!.. Общество русское доказало свою «цивилизованную» зрелость, поставило Пушкину дешёвый памятник — *по-европейски убирало* его венками, *по-европейски обедало*, *по-европейски* говорило на обедах *спичи*. По обыкновению своему, интеллигенция наша ровно, по этому поводу, ничего не выдумала своеобразного. У подножия монумента великого русского творца не обнаружилось ни одного молодого и оригинального таланта ни в ораторском искусстве, ни в поэзии; говорили речи и стихи, и вообще действовали тут всё люди прежние и давно известные; блистали люди, которых молодость прошла при *прежних условиях*, более сходных с условиями, развившими самого Пушкина. Враждебно ли или сочувственно относятся все эти таланты к *старому порядку* и его остаткам — все равно; *они все обязаны этому поруганному прошлому* как впечатлениями своими (т. е. содержанием своих творений), так и умственными силами своими, трудившимися над воспроизведением этого содержания, данного русскою жизнью... *Нового ничего...* Ни изобретательности в форме чествования, ни какой бы то ни было ум поражающей свежей мысли, либо вовсе не

слыханной, либо давно забытой и просящейся снова в жизнь. Многие из сказанного и написанного по этому поводу было где-то и когда-то, наверное, тоже сказано или написано теми же самыми лицами или иными, и гораздо лучше и полнее. Один только человек, как слышно, выразился по поводу пушкинского праздника вполне оригинально: это граф Л. Толстой. Печатали, будто он, отказываясь от участия в этом празднестве, сказал: «Это всё одна комедия!» Я не думаю, чтоб это было так. Отчего ж комедия? Вероятно, многие были искренни в своем желании почтить память Пушкина... И хотя мне очень нравится эта независимость графа Толстого, его капризное пренебрежение к современности нашей, но я не вижу нужды соглашаться с тем, что все это — притворство и комедия. В искренность я готов верить; я желал бы видеть только во всем этом больше национального цвета, побольше остроумия и глубины. Все это, быть может, и очень тепло; но тепло как пар, не замкнутый в какую-нибудь форму. Тепло, даже горячо, порывисто, но рассеялось скоро, и не осталось ничего. Всё надежды, всё мечты, и мечты вовсе не картинные! Правду сказали в *«Вестнике Европы»* (я где-то это прочел), что в том «смирении», которое хотят признать уже довольно давно отличительным признаком славизма, есть много своего рода самохвальства и гордости, ничем еще не оправданных... Довольно об этом. Больше всего сказанного и продекламированного на празднике меня заставила задуматься речь Ф. М. Достоевского. Положим, и в этой речи значительная часть мыслей не особенно нова и не принадлежит исключительно Достоевскому. О русском «смирении, терпении, любви» говорили многие, Тютчев пел об этих добродетелях наших в изящных стихах. Славянофилы прозой излагали то же самое. О «всеобщем мире» и «гармо-

нии» (опять-таки в смысле *благоденствия*, а не в смысле *поэтической борьбы*) заботились и заботятся, к *несчастью*, многие и у нас, и на Западе: Виктор Гюго, воспевающий междоусобия и цареубийства; Гарибальди, составивший себе славу военными подвигами; социалисты, квакеры; по-своему Прудон, по-своему Кабе, по-своему Фурье и Ж. Санд.

В программе издания *«Русской мысли»* тоже обещают *царство добра и правды на земле, будто бы обещанное* самим Христом. В собственных сочинениях г. Достоевского давно и с большим чувством и успехом проводится мысль о любви и прощении. Все это не ново; ново же было в речи г. Ф. Достоевского приложение этого полухристианского, полуутилитарного *всепримирительного стремления* — к *многообразному, чувственному, воинственному, демонически пышному гению Пушкина*. Но, как бы то ни было, необходимо прежде всего считаться и с именем автора, и с эффектом, произведенным его словами, — тем более что эта не слишком новая мысль о «смирении» и о примирительном назначении славян (составляющем, за неимением пока лучшего, будто бы нашу племенную особенность) распространена в той части нашего общества, которая ни с любовью к Европе не хочет расстаться, ни с последними слухами и отвратительными выводами ее цивилизации покорно помириться не может. До этого, к счастью, еще наше смирение не дошло.

Об этой речи я и хочу поговорить.

Не знаю, что бы я чувствовал, если бы я был там. Но издали человек хладнокровнее. Я нахожу, что речь г. Достоевского (напечатанная потом в *«Московских ведомостях»*), в самом деле должна была произвести потрясающее действие, если только согласиться с оратором, что признание *космополитической любви*, которое он считает уделом русского народа, есть назна-

чение благое и возвышенное. Но, признаюсь, я многого, очень многого в этой идее постичь не могу. Это всеобщее примирение, даже и в теории, со многим само по себе так *непримиримо!*..

Во-первых, я постичь не могу, за что можно *любить современного европейца!*..

Во-вторых, любить и любить — разница... Как любить? Есть любовь — *милосердие*, и есть любовь — *восхищение*; есть любовь *моральная* и любовь *эстетическая*. Даже и эти два вовсе не схожие влечения нужно подразделить весьма основательно на несколько родов. Любовь моральная, т. е. искреннее желание блага, сострадание или радость на чужое счастье и т. д., может быть *религиозного происхождения* и происхождения *естественного*, т. е. *производимая* (без всякого влияния религии) большою природной добротой или воспитанная какими-нибудь гуманными убеждениями. Религиозного происхождения нравственная любовь потому уже важнее естественной, что естественная доступна не всякой натуре, а только счастливо в этом отношении одаренной; а до религиозной любви, или милосердия, может прийти и самая черствая душа долгими усилиями аскетической борьбы против эгоизма своего и страстей. На это можно привести довольно примеров и из нынешней жизни. Но живые примеры и биографические подробности заняли бы здесь много места. Больше я развивать эту тему и подразделять чувства любви или симпатии не буду. Об этом можно написать целую книгу. Я только хотел *напомнить* все это. Остановлюсь на грубом, можно сказать, различии между любовью моральной и любовью эстетической. Мы жалеем человека или он нравится нам — это большая разница, хотя и совмещаться эти два чувства иногда могут. Попробуем приложить оба эти чувства к большинству *современных европейцев*.

Что же нам — жалеть их или восхищаться ими? Как их жалеть?! Они так самоуверенны и надменны; у них так много перед нами и перед азиатцами житейских и практических преимуществ? Даже большинство бедных европейских рабочих нашего времени так горды, смелы, так не смиренны, так много думают о своем мнимом личном достоинстве, что сострадать можно им никак не по первому невольному движению, а разве по холодному размышлению, по натянутому воспоминанию о том, что им в самом деле, может быть, в экономическом отношении тяжело. Или еще можно их жалеть «философски», то есть так, как жалеют людей ограниченных и заблуждающихся. Мне кажется, чтобы почувствовать невольный прилив к сердцу того милосердия, той нравственной любви, о которой я говорил выше, надо видеть современного¹ европейца в каком-нибудь униженном положении: побежденным, раненым, пленным, — да и то условно. Я принимал участие в Крымской войне как военный врач. И тогда наши офицеры, даже казацкие, не позволяли нижним чинам обращаться дурно с пленными. Сами же начальствующие из нас, как известно, обращались с неприятелями даже слишком любезно — и с англичанами, и с турками, и с французами. Но разница и тут была большая. Перед турками никто блистать не думал. И по отношению к ним действительно во всей чистоте своей являлась русская доброта. Иначе было дело с французами. Эти сухие фанфароны были тогда

¹ Я говорю «современного» в смысле тенденции рода воспитания и всего того, что составляет так называемый *тип*, а не про всех тех, которые *теперь живут*. И Бисмарк, и папа, и французский благородный легитимист, и какой-нибудь набожный простой баварец или бретонец тоже теперь живут; но это остатки прежней, густой, так сказать, и *богатой духом* Европы. Я не про таких современников наших говорю, объясняюсь раз навсегда.

победителями и даже в плену были очень развязны, так что по отношению к ним, напротив того, видна была жалкая и презренная сторона русского характера — какое-то желание заявить о своей деликатности, подобострастное и тщеславное желание получить одобрение этой массы самоуверенных куаферов, про которых Герцен так хорошо сказал: «Он был не очень глуп, как большинство французов, и не очень умен, как большинство французов». Все это необходимо отличать, и великая разница быть ласковым с побежденным китайским мандарином или с индийским парией — или расстилаться перед французским *troupiér* и английским моряком. По отношению к азиатам, как идолопоклонникам, так и магометанам, мы действительно являемся в подобных случаях теми добрыми самарянами, которых Христос поставил всем в пример. Относительно же европейцев эта доброта весьма подозрительного источника, и, признаюсь, я расположен ее презирать. Я вспоминаю нечто о г. Зиссермане. В одном из своих политических обозрений г. Зиссерман, возмущаясь нашим действительно, быть может, излишним кокетством с пленными турками (из которых столь многие поступали зверски с болгарами и сербами), ставил нам в пример немцев, которые, набравши в плен такое множество французов, почти не говорили с ними и не хотели с ними вовсе общаться. Немцы прекрасно делали — с этим я согласен. Именно так надо поступать с обыкновенными французами. Милосердие к ним, в случае несчастья, должно быть сдержанное, сухое, как бы обязательное и холодно-христианское. Что касается турок и других азиатцев, которых преходящая самоуверенность в наше время не может в понимающем человеке возбуждать негодования, а скорее какую-то жалость, то, не доходя, разумеется, до поднесения букетов и тому подобных рус-

ских глупостей, конечно, в случае унижения и несчастья, с ними следует быть поласковее. Кстати о букетах. Когда русский мещанин, солдат или мужик ведет пленных турок и, вспоминая о жестокостях, совершенных их соотечественниками, думает про себя: «А может быть, эти турки, которых я вижу, ничего такого не делали, — за что же их оскорблять?» — то я верю в это православное русское добродушие. Я понимаю, что та сторона учения Христова, которая говорит именно о прощении, т. е. о самом высшем проявлении этой нравственной любви, дается русскому народу легче, чем какому-нибудь другому племени. Положим, и к простолюдину русскому можно здесь придаться: у одного — лень; у другого — все слабовато, в том числе и мстительность и гордость невыразительны; третий — сам не знает, что ему нужно делать; у четвертого — равнодушное отношение ко всему, кроме своих личных интересов. Но это уже тонкие психологические оттенки. И распространению христианства служили не только высокие побуждения, а всякие, ибо «сила Божия и в немощах наших познается». Но когда наш харьковский европеец или калужская француженка любезничают с унылым или угрюмым мусульманином, я впадаю в искушение... Я знаю, этот европейский Петр Иванович или эта французская Агафья Сидоровна делают это не совсем спроста: боюсь до смерти, что у них хотя полусознательно, но мелькают в уме газеты, западное общественное мнение: «Вот мы какие милые и цивилизованные!» Тогда как, по настоящему, надо сказать себе: «Какое нам дело до того, что о нас думает Европа?» Когда же мы это поймем?!

Итак, говорю я, любовь к людям может быть прежде всего двоякая: нравственная или сострадательная и эстетическая или художественная. Нередко, я ска-

зал, они действуют смешанно. В речи г. Достоевского по поводу Пушкина эти два чувства — совершенно разнородные и в жизненной практике чрезвычайно легко отделимые — вовсе не различены. А это очень важно. Лермонтов и другие кавказские офицеры, сражаясь против черкесов и убивая их, восхищались ими и даже нередко подражали им. Точно такое же отношение к горцам мы видим и у староверов-казаков, описанных гр. Львом Толстым. Этот же романист представил нам примеры подобных двойственных отношений русского дворянства к французам в эпоху Наполеоновских войн. Черкесы эстетически нравились русским, противникам своим. Русское дворянство времени Александра I восхищалось тогдашними французами, вредя им стратегически (а следовательно, и лично) на каждом шагу.

Речь г. Достоевского очень хороша в чтении, но тот, кто видал самого автора и кто слышал, как он говорит, тот легко поймет восторг, охвативший слушателей... Ясный, острый ум, вера, смелость речи... Против всего этого трудно устоять сердцу. Но возможно ли сводить целое культурное историческое призвание великого народа на одно доброе чувство к людям без особых, определенных, в одно и то же время вещественных и мистических, так сказать, предметов веры, вне и выше этого человечества стоящих, — вот вопрос.

Космополитизм православия имеет такой предмет в живой личности распятого Иисуса. Вера в Божественность Распятого при Понтийском Пилате Назарянина, который учил, что на земле все неверно и все не важно, все недолговечно, а действительность и вековечность настанут после гибели земли и всего живущего на ней, — вот та осязательно-мистическая точка опоры, на которой вращался и вращается до сих

пор исполинский рычаг христианской проповеди. Не полное и повсеместное торжество любви и всеобщей правды на этой земле обещают нам Христос и его апостолы, а, напротив того, нечто вроде кажущейся неудачи евангельской проповеди на земном шаре, ибо близость конца должна совпасть с последними попытками сделать всех хорошими христианами...

«Ибо, когда будут говорить: „мир и безопасность“, тогда внезапно постигнет их пагуба... и не избегнут» (1 Фес. 5, 3).

И еще:

«Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас».

«Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „я Христос“, и многих прельстят».

«Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите не ужасайтесь: ибо надлежит всему тому быть; но это еще не конец».

«Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам».

«Все же это начало болезней» (Мф. 24, 4–8).

«И, по причине умножения беззакония, во многих охладает любовь».

Претерпевший же до конца спасется.

И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.

Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, — читающий да понимает...» (Мф. 24, 12–15).

И так далее.

Даже г. Градовский догадался упомянуть в своем слабом возражении г. Достоевскому о пришествии Антихриста и о том, что Христос пророчествовал не *гар-*

монию всеобщую (мир всеобщий), а всеобщее разрушение. Я очень обрадовался этому замечанию нашего ученого либерала.

Хотя, видимо, г. Градовский писал это с улыбкой и хотел напоминанием о «светопреставлении» уязвить христианство; но это как ему угодно, указание на эту существенную сторону христианского учения здесь очень кстати.

Итак, пророчество всеобщего примирения *людей о Христе* не есть православное пророчество, а какое-то общегуманитарное. Церковь этого мира не обещает, а кто «преслушает, Церковь, тебе, тот пусть будет как язычник и мытарь» (т. е. чужд тебе, как вредный своим примером человек; конечно, до тех пор, пока он не исправится и не обратится).

Возвратимся к европейцам... Прежде, например, чем полюбить кого-либо из европейских либералов и радикалов, надо бояться Церкви.

Начало премудрости (т. е. настоящей веры) есть страх, а любовь — только плод. Нельзя считать плод корнем, а корень плодом. Тут даже кстати можно продолжить с успехом именно это уподобление. Правда, плод или часть плода (семя) зарывается в землю так, что оно становится невидимым и перерождается в корень и другие части растения. В таком смысле я могу, например, полюбить даже и самого Гамбетту!.. Каким образом? Очень простым. Говорят, что один из самых пылких и, конечно, не робких жирондистов (кажется, Isnard), спасаясь от гильотины, пробыл несколько дней в каменоломнях и от мучений страха стал христианином. Вот если бы Гамбетта вследствие какого-нибудь подобного потрясения захотел «облечься во Христа», пошел бы к священнику и сказал: «Отец мой, я понял, что республика — вздор, что свобода — изношенная пошлость, что нация наша, прежде действительно ве-

лика, теперь недостойна больше внимания, и сам себе я кажусь так глуп и так низок, что умираю от стыда и тоски, — научите меня... Обратите меня... Я знаю, что христианину необходимо усилие воли и скромность ума перед вашим учением... Я согласен принять все, даже и то, что мне противно и с чем отвратительная оупелость моего разума, воспитанного верой в прогресс, согласиться не может. Я в принципе решаю всякое сочувствие этому смешному, либеральному разуму считать заблуждением, ошибкой».

Вот в таком случае я понимаю, что можно было бы полюбить Гамбетту всем сердцем и всею душою, «как самого себя», — полюбить его в одно и то же время и нравственно и эстетически, — полюбить и с умственным восхищением, и с умилением сердечным... Теперь же, каюсь, я, считая себя не менее кого бы то ни было вправе называться русским человеком, при всей доброй воле моей, никак не могу ни умиляться, ни восхищаться, думая об этом энергическом воздухоплателе... А он еще самый крупный и занимательный, кажется, из нынешних граждан самой европейской из наций Западной Европы.

Или возьмем пример ближе. Трудно себе представить, чтобы который-нибудь из наших умеренных либералов «озарился светом истины»... Но все-таки представим себе обратный процесс. Вообразим себе, что не страх довел которого-нибудь из них, как Isnard'a, до премудрости, а премудрость довела до страха рядом умозаключений ясных, но не в духе времени (с которым «живая» мысль принуждена считаться, но уважать который она вовсе не обязана). Трудно себе это представить, положим. Для того чтобы в наше время члену плачевной интеллигенции нашей стать тем, что зовется вообще «мистиком», — надо иной калибр ума, чем мы видим у подобных профессоров и фельетонистов.

Но положим... положим, что либерал дошел премудростью человеческою до страха Божия... Ведь я сказал уже: сила Господня и в немощах наших нередко познается; русские либералы немощны, но Бог силен. Дошли они премудростью до страха и смирились — живут в томлении кроткого прозелитизма, писать вообще перестали... Как бы они все были тогда привлекательны и милы!.. Сколько уважительного и тепло-го снисхождения возбуждали бы тогда эти скромные люди!..

Но теперь их даже не следует любить: мириться с ними не должно... Им должно желать добра лишь в том смысле, чтоб они опомнились и изменились, т. е. самого высшего добра, идеального... А если их пора-зят несчастья, если они потерпят гонения или какую иную земную кару, то этому роду зла можно даже не-много и порадоваться, в надежде на их нравственное исцеление. Покойный митрополит Филарет находил, что телесное наказание преступников полезно для их духовного настроения, и потому он стоял за телесное наказание¹.

И сам господин Достоевский почти во всех своих произведениях, исполненных такого искреннего чув-ства и любви к человечеству, проводит почти ту же мысль, быть может и невольно, руководимый каким-то высоким инстинктом.

Наказанные преступники, убийцы, блудные, про-дажные, оскорбленные женщины у него так часто яв-ляются представителями самого горячего религиозно-го чувства... Страдания, угрызения совести, страх, ли-шения и стеснения, вследствие кары земного закона и личных обид, открывают перед умом их иные пер-

¹ Смотри книгу «Государственное учение митрополита Фи-ларета» В. Н. 1885 года. С. 86–94. Между прочим текст: «Ты, по-бивши его жезлом, душу же его избавиши от смерти» (с. 92).

спективы... А «без преступлений и наказаний» они пребывали бы, наверное, в пустой гордости или зверской грубости... Без страданий не будет ни веры, ни на вере в Бога основанной любви к людям; а главные страдания в жизни причиняют человеку не столько силы природы, сколько другие люди. Мы нередко видим, например, что больной человек, окруженный любовью и вниманием близких, испытывает самые радостные чувства; но едва ли найдется человек здоровый, который был бы счастлив тем, что его никто знать не хочет... Поэтому и поэзия земной жизни, и условия загробного спасения — одинаково требуют не сплошной какой-то любви, которая и невозможна, и не постоянной злобы, а, говоря объективно, некоего как бы гармонического, ввиду высших целей, сопряжения вражды с любовью. Чтобы самарянину было кого пожалеть и кому перевязать раны, необходимы же были разбойники. Разумеется, тут, естественно, следует вопрос: «Кому же взять на себя роль разбойника, кому же олицетворять зло, если это не похвально?» Церковь отвечает на это не моральным советом, обращенным к личности, а одним общеисторическим пророчеством: «Будет зло!» — говорит Церковь. Она говорит еще: «Званых много, проповедано будет Евангелие везде, но избранных будет мало; только нудящие себя восходят в Царствие Небесное», — потому что самая добрая, кроткая, великодушная натура есть дар благодати, дар Божий. Нам принадлежат только: желание, искание веры, усилие, молитва против маловерия и слабости, отречение и покаяние.

«Блажен претерпевший до конца!»

Христос, повторяю, ставил милосердие или доброту личным идеалом; Он не обещал нигде торжества поголовного братства на земном шаре... Для такого братства необходимы прежде всего уступки со всех сторон. А есть вещи, которые уступить нельзя.

II

Мнения Ф. М. Достоевского очень важны — не только потому, что он писатель даровитый, но еще более потому, что он писатель весьма влиятельный и даже весьма полезный.

Его искренность, его порывистый пафос, полный доброты, целомудрия и честности, его частые напоминания о христианстве — все это может в высшей степени благотворно действовать (и действует) на читателя, особенно на молодых русских читателей. Мы не можем, конечно, счесть, сколько юношей и сколько молодых женщин он отклонил от сухой политической злобы нигилизма и настроил ум и сердце совсем иначе; но верно, что таких очень много.

Он как будто говорит им беспрестанно между строками, говорит отчасти и прямо сам, повторяет устами своих действующих лиц, изображает драмой своей; он внушает им: «Не будьте злы и сухи! Не торопитесь перестраивать по-своему гражданскую жизнь; займитесь прежде жизнью собственного сердца вашего; не раздражайтесь; вы хороши и так, как есть; старайтесь быть еще добрее, любите, прощайте, жалейте, верьте в Бога и Христа; молитесь и любите. Если сами люди будут хороши, добры, благородны и жалостливы, то и гражданская жизнь станет несравненно сноснее, и самые несправедливости и тягости гражданской жизни смягчатся под целительным влиянием личной теплоты».

Такое высокое настроение мысли, к тому же выражаемое почти всегда с лиризмом глубокого убеждения, не может не действовать на сердца. В этом отношении к г. Достоевскому можно приложить одно название, вышедшее нынче почти из употребления, — он замечательный моралист. Слово «моралист» идет к роду его деятельности и к характеру влияния гораздо бо-

лее, чем название «публицист», даже и тогда, когда он по способу изложения является не повествователем, а мыслителем и наставником, как, например, в своем восхитительном «Дневнике писателя». Он занят гораздо более психическим строем лиц, чем строем социальным, которым все нынче, к сожалению, так озабочены. Человечество XIX века как будто бы отчаялось совершенно в личной проповеди, в морализации прямо сердечной и возложило все свои надежды на переделку обществ, то есть на некоторую степень принудительности исправления. Обстоятельства, давление закона, судов, новых экономических условий принудят и причут людей стать лучше... «Христианство, — думают эти современники наши, — доказало тщетными усилиями веков, что одна проповедь личного добра не может исправить человечество и сделать земную жизнь покойною и для всех равно справедливою и приятною. Надо изменить условия самой жизни; а сердца поневоле привыкнут к добру, когда зло невозможно будет делать».

Вот та преобладающая мысль нашего века, которая везде слышится в воздухе. Верят в человечество, в человека не верят больше.

Господин Достоевский, по-видимому, один из немногих мыслителей, не утративших веру в самого человека.

Нельзя не согласиться, что в этом направлении много независимости, а привлекательности еще больше...

Таким представляется дело по сравнению с односторонним и сухим социально-реформаторским духом времени.

Но то же самое представляется совершенно иначе по отношению к христианству.

Демократический и либеральный прогресс верит больше в принудительную и постепенную исправи-

мость всецелого человечества, чем в нравственную силу лица. Мыслители или моралисты, подобные автору «Карамазовых», надеются, по-видимому, больше на сердце человеческое, чем на переустройство обществ. Христианство же не верит безусловно ни в то ни в другое — то есть ни в лучшую автономическую мораль лица, ни в разум собирательного человечества, долженствующий рано или поздно создать рай на земле.

Вот разница. Впрочем, я, может быть, дурно выразился словом «разум»... Чистый разум, или, пожалуй, наука, в дальнейшем развитии своем, вероятно, скоро откажется от той утилитарной и оптимистической тенденциозности, которая сквозит между строками у большинства современных ученых, и, оставив это утешительное ребячество, обратится к тому суровому и печальному пессимизму, к тому мужественному смирению с неисправимостью земной жизни, которое говорит: «Терпите! Всем лучше никогда не будет. Одним будет лучше, другим станет хуже. Такое состояние, такие колебания горести и боли — вот единственно возможная на земле гармония! И больше ничего не ждите. Помните и то, что всему бывает конец; даже скалы гранитные выветриваются, подмываются; даже исполинские тела небесные гибнут... Если же человечество есть явление живое и органическое, то тем более ему должен настать когда-нибудь конец. А если будет конец, то какая нужда нам так заботиться о благе будущих, далеких, вовсе даже непонятных нам поколений? Как мы можем мечтать о благе правнуков, когда мы самое ближайшее к нам поколение — сынов и дочерей — вразумить и успокоить действиями разума не можем? Как можем мы надеяться на всеобщую нравственную или практическую правду, когда самая теоретическая истина, или разгадка земной жизни, до сих пор скрыта для нас за непроницаемую завесой; когда и великие умы, и целые нации постоянно оши-

баются, разочаровываются и идут совсем не к тем целям, которых они искали? Победители впадают почти всегда в те самые ошибки, которые сгубили побежденных ими, и т. д... Ничего нет верного в реальном мире явлений.

Верно только одно, точно — одно, одно только несомненно, — это то, что все здешнее должно погибнуть! И потому на что эта лихорадочная забота о земном благе грядущих поколений? На что эти младенчески болезненные мечты и восторги? День наш — век наш! И потому терпите и заботьтесь практически лишь о ближайших делах, а сердечно — лишь о ближних людях; именно о ближних, а не о всем человечестве».

Вот та пессимистическая философия, которая должна рано или поздно, и, вероятно, после целого ряда ужасающих разочарований, лечь в основание будущей науки.

Социально-политические опыты ближайшего грядущего (которые, по всем вероятностям, неотвратимы) будут, конечно, первым и важнейшим камнем преткновения для человеческого ума на ложном пути искания общего блага и гармонии. Социализм (т. е. глубокий и отчасти насильственный экономический и бытовой переворот) теперь, видимо, неотвратим, по крайней мере для некоторой части человечества.

Но, не говоря уже о том, сколько страданий и обид его воцарение может причинить побежденным (т. е. представителям либерально-мещанской цивилизации), сами победители, как бы прочно и хорошо ни устроились, очень скоро поймут, что им далеко до благоденствия и покоя. И это как дважды два четыре вот почему: эти будущие победители устроятся или свободнее, либеральнее нас, или, напротив того, законы и порядки их будут несравненно стеснительнее наших, строже, принудительнее, даже страшнее.

Содержание

О всемирной любви	5
Храм и Церковь	50
Византизм и славянство	65
Письма отшельника	229
Записки отшельника	253
Мое обращение и жизнь на св. Афонской горе	323